

Каринэ АРУТЮНОВА

Каринэ Арутюнова родилась в Киеве, жила в Израиле с 1994 по 2009 год. Автор книг «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Дочери Евы» (Ridero.ru, 2015). Публикации в журналах «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Крещатик», «Полутона», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «ШО» (Киев), «Новый мир», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2013 года.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ

Казалось, их души давно вселились в старые кофейники, заварники и кожаные итиблеты, а обладатели этих душ живут себе и живут, раскрашенные в синее, лиловое, бирюзовое, салатное. Длинная медоточивая нота, грациозная, как поступь идущего по пустыне верблюда.

А ведь жили почти рядом, возможно десятки раз проплывали мимо, как рыбы за толстыми стеклами аквариума.

Я вижу сидящего на карнизе голубя, и в этом благая весть. Она в подступающем грозном облаке, во влаге, которой должно разрешиться оно. В ветре, пригибающем деревья, в близости речной воды.

Река пахнет настоящим. Плышет себе и плывет, без всяких видимых причин и усилий. Может, и мы можем так? Часами можно сидеть у реки, отпустив свои мысли по течению.

Птицы летают низко. Воздух напоен будущими грозами, влагой, жаром, щебетом. Подходим к середине лета. К сердцевине его. Точно косточка абрикоса. Плоть вокруг нее смята, упивается собственной сладостью, брызжет соком, источает соблазны. Время подвисает в паутине, течет по проводам, напоминает о себе неслышными толчками, точно сеть кровеносных сосудов, опутывает с ног до головы.

Как будто кто-то наводит театральный бинокль, взятый напрокат у тетеньки в гардеробе. Такой, в уютном сафьяновом футлярике того же вишневого оттенка, что и тяжёлый пыльный занавес.

Картинки прошлого, приближенные бесхитростной оптикой, обретают ясность и завершенность. Наконец-то, становится очевидным замысел! Случайная подробность оказывается незабываемой. Масштабное, значительное – меркнет, сворачивается по мере приближения. Тут и там вспыхивают светлячки воспоминаний, душа сама выбирает, чему быть близкой.

Память это не увешанная планками грудь юбиляра, не пыльный альбом с черно-белыми снимками. Это нежное свечение изнутри. Звук аккордеона из колодца чужого двора. Спотыкающаяся гамма из окна напротив. Уголок тюлевой занавески. Пыльный фикус на подоконнике. Мелодичный перезвон посуды. Топот обиженных ног. Его запрокинутое лицо. Его честные слезы. Ее наивный триумф. Лёгкость обожания. Дыхания. Походки. Восторг междометий, пожатие сведенных робостью пальцев. От батареи идёт ровное, будто от печки, тепло

Так хорошо засыпать под шорох дождя. Слышен звук сдвигаемой каретки, суховатое покашливание, одинокий голос ребенка, напуганного сном. И чей-то бубнеж за стеной – четверть алоэ, четверть каланхоэ, по капле в чайную ложку молока...

Простые вещи

Все вернётся на круги своя, и люди вновь начнут радоваться бесхитростным вещам. Луковице, прорастающей в двухсотграммовой баночке из-под майонеза, первому огурцу и первой редиске (когда-то у всего были сроки, дети мои, и у редиса, и у огурца, и, не про нас будь сказано, у клубники).

Все цело, плодоносило и увядало в законные, отведенные для этого Создателем сроки.

Я помню сводящий с ума запах первого весеннего огурца, хруст настоящей редиски, я помню (сквозь створки рам и ставен) чью-то недостроенную дачу, даже не дачу, а так, участок, сидящих за наспех сколоченным столом детей (среди них вижу себя), мятый картофель в стеклянной банке, благоговейно разрезанный (вдоль брюшка) огурец, неспешные беседы взрослых (о, таинство далёких миров), нас, ошалевших от обилия воздуха (такого же свежего, как огурчик на блюде), света (впрочем, солнце клонилось к закату, но и это было дополнительным бонусом к долгому счастливому дню).

Как вновь обрести утерянное очарование повседневности, тривиальности даже (кивают пупырчатые малосольные огурчики из кем-то закатанных банок), и кем-то сваренное варенье (о, будь трижды благословен вяжущий вкус кизила) покоится себе в хрустальном своем обрамлении, уютно так, точно в детской ладони, – янтарные складки желе таят в себе неразгаданные секреты ушедших миров.

Подумать только, эка невидаль – огурец. Да у нас, господа, этих огурцов... каких хочешь. Как и варенья, и джема, – в нарядных баночках-упаковках – рядами теснятся на полках, ждут своего часа. Быть съеденными. Не всуе, не наспех. Ведь, если задуматься, никакого смысла в этом обилии всего, если нет спроса. Желания то есть. Вожделения. Дрожащей от нетерпения руки, срывающей запретный плод.

Как хороша яичница (с подрагивающими яркими желтками посередине), – после ночи любви в общежитии имени Бертольда Шварца на продавленной поколениями койке и с туалетом в конце коридора, как божественен сладкий чай в подозрительно мутном стакане, как изнурительно прекрасен начинающийся за оборванными шторами весенний день.

Господи, мир был открыт и светился (не экраном айфона, а собой) – без фильтра и ретуши, без добавления яркости и контраста, – контрастов хватало идущим в обнимку нам, – мимо цветущих деревьев, затрапезных кафешек с нечистыми стаканами, мимо костела и пока ещё незыблемых постаментов – свидетельств эпохи, которая, казалось, будет всегда.

Яичница, жареный картофель, разрезанный вдоль огурец.

Чем призрачней собственное существование, тем ярче потребность восстановить (хоть как-то, по крупицам) картину мира. Вернуться к скудости (обретая яркость) вкусов, желаний – начать с негативов, с набросков углем, черной тушью, по дюйму (осторожно) добавляя резкости, растирая границы, – отходить, любясь сотворенным – бедностью, тишиной, вспыхивающим в ней, тишине, смыслом. И только потом браться за пастель, акварель, темпера.

Оставляя главное – на потом. Чтобы не растерять окончательно. Тот самый, вылепленный с божественной смелостью мир, в котором каждый штрих и звук подобен бесхитростной трапезе за наспех сколоченным столом. Где все настоящее. Редиска с грядки, блистающий гранями огурец, чертополох, растущий у забора, ты сам, сидящий у стола.

Стоит только замереть, позволив «внешнему» обтекать вас, как все внезапно складывается в вашу пользу. Где ещё я могла увидеть эту мирную картинку из прошлых жизней? В последний раз я наблюдала это окраине Еревана и в окрестностях его. Тогда мне объяснили, что это курды. Вытряхивают, сушат стеганые одеяла, перины, овечью шерсть. На крышах домов, во двориках, – такая себе повседневность, уклад многодетной семьи, похожей на разноцветный улей, в котором каждой особи уготовано место и достойное

занятие. Древние старушки, уж никак не лишние в этой веками выверенной системе координат, проворно перебирают пряжу своими темными руками, властно покрикивают на младших, даже если младшим этим далеко за...

Здесь нет места пустоте, вялости, клиническим расстройствам – этому бонусу современной жизни – в обмен на насыщенное суетное и комфортное существование, за рамками которого неизбежно оказываешься на границе миров.

По двору ползают младенцы, пахнет овчиной, козьим сыром, помётом, пылью, жарой.

Речь, разумеется, не только о курдах. Однажды двоюродная папина сестра привезла из Кафана такое вот классическое одеяло. Какой армянский дом без овечьей шерсти, скажите на милость? Смутно припоминается картинка – распоротое по швам, вывернутое наизнанку, распростертое на выгоревшей августовской траве...

Ау, где это я? Неужели здесь, в обычной городской квартире, из окна которой – ну вот же он, тот самый сюжет из далёких лет. Женщина, девушка, подушки, перины, дети. Те самые курды, которых с окраин Закавказья занесло в наш двор. В те самые девяностые, потом двухтысячные. Вместе с перинами, овечьей шерстью, стегаными одеялами, женщинами, детьми...

Вы думаете, утро – это трели соловья? Или пышное цветение бузины в огороде? Берите выше. Вот уже несколько часов из стоящего под окнами авто доносится включенное на полную катушку радио – сплошная реклама средств для повышения сексуальной активности, – то мужской голос – излучающий обещанную активность, то вдруг женский – дрожащий от радостного предвкушения, – и вдруг – ляляля – «костер давно погас», – это уже реклама переходит в концерт по заявкам, – «в цыганский табор я попал мальчишкой, ляляляля», – потом странный выхлоп, похожий на локальный взрыв, чей-то ошарашенный полувсхлип-полукрик – ой, бя, – и становится тихо, совсем тихо, – как в первый день творенья, – ни тебе скороговорок, ни бравурных маршей, ни таблеток от бессилия и изжоги, – «и земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился», а потом вновь – по атому, по кирпичику вырастают девятиэтажки, сушится белье, в подвале травят тараканов и мышей, и женский голос с певучими интонациями «розповидає» про кабачки, – «таки уродили, велики та жовти», пахнет каленой кукурузой и горячим асфальтом

Тем летом нас поливали из шланга. Прохладные струи хлестали по ногам, и можно было сколько угодно визжать, увертываясь от брызг и топая босыми пятками по лужам. На веранде уже все было – блюдо с глянцевой черешней и бидон с бражкой, ее разливали половником по шербатым разнокалиберным чашкам. Черешня заканчивалась вмиг, всего-то и доставалось по несколько ягод, зато хмельной напиток можно было пить и пить, длить и длить, что мы и делали, посапывая от удовольствия.

Ах, что за чудо это лето!

Вот и сейчас. К лавочке (ну, тут все в курсе, что лавочка у нас особенная, двадцать четыре часа в сутки вам обеспечены прохлада, тень, пение африканских птиц) ближе к вечеру подтягивается народ. Позвякивание склянок, бульканье, посапывание, в поздних летних сумерках слышны голоса, – господи, сколько правды жизни и витальной грубой силы в них! Простые вещи. Палка колбасы, торопливо разрезанный (вдоль) пупырчатый огурчик, – заботливый мужской голос – густой, как летний зной, – с придыханием, – Михалыч, налей женщине! Ну, вздрогнули! Пауза, жемчужное журчание струй, процеживание огненных капель, – райские, я вам доложу, моменты!

Охваченные заботой женщины блестят глазами, сверкают скулами, коленями, локтями, их грубые молодые голоса прорывают пленку духоты, – шлёпки, майки, смуглые щиколотки, – нет, жизнь положительно прекрасна и многообещающа, – какие Канны, какие Антибы, – отпуск нужно проводить среди плакучих ив и стройных тополей, – вот и новую партию подогнали, – возьмите еще колбаски, хлопцы, – нет, всё-таки, женщина не должна быть трезвой, решительно не должна, – и не то чтобы пьяной, но – томной, размягшей, умиротворённой, – сколько исконно женского, глубинного в этом – «возьмите колбаски», – ну, как же не взять? Ну, как же не взять этой самой колбаски, и не накрыть ее сверху огурчиком, и не отхлебнуть из пластикового стаканчика?

Женщину с бидоном звали уже не вспомню как – Поля или Надя, или может быть даже Мария, – как знать? Не помню её лица, но помню движения полных белых рук, статичность позы. Зимой она наливала суп, летом – компот и бражку, не знаю, была ли она доброй, наверное, все же да, если принять во внимание некоторое количество сморщенных груш, съеденных не без греховной тайной радости, в довесок к тем, что были в порции, но сколько всего, я вас умоляю, груш в баке густого черносливового компота? Некоторое количество «дополнительных» груш и мятой черной сливы выуживалось со дна бака – там, если хотите знать, самое вкусное и питательное для ребенка образца хрущевской оттепели, возвращенного на манке и киселе.

Добрая женщина с большими руками и круглым лицом, – под белой косынкой обнаруживалась дуля, скрученная из бесцветных гладких волос, – не помню имени этой женщины, не помню лица, но помню силу больших белых рук, ладони, обхватившей затылок, – ей невдомёк было, что именно это останется в моей памяти, и вынырнет из глубин ее, – всего одно движение оставит воспоминание о лёгкости унижения большим человеком маленького, полной свободе первого и абсолютной бесправности, незащитности второго, – ошеломленная, я даже не заплачу (плакать стыдно), и уж конечно, не доем ненавистный суп, в который меня только что окунули

На то, детское ощущение наложились множество других – длинный коридор, по которому тащат упирающуюся меня – все те же руки – с одной и с другой стороны, – о, сколько их было, – царапин, бороздок, все давно зажило и больше, знаете ли, не тревожит и не беспокоит, вот только чувство хтонического древнего – не то чтобы страха, а знания – о простом и, казалось бы, добром человеке с невыразительным лицом, – сегодня он добр и благодушен, и даже щедр, и ты можешь, в принципе, рассчитывать на выловленную со дна бака грушу...

Но я совсем не о том. Я о лете, зное, повторяемости сюжета, о лицах, выражение которых не всегда различимо, – особенно если темно, – я по привычке сжимаюсь, а потом выдыхаю с невыразимым облегчением, приветливо кивая незнакомцам, которые мирно себе трапезничают в районных джунглях, и голоса их шелестят и переливаются, сообщая миру о простых, знаете ли, и вечных истинах.

Подумала о том, что у меня ни одной фотографии студенческих времён, ни одной! Как мы жили вообще в такой кромешной темноте? Без единой вспышки? Как? Как будто все, что происходило тогда, должно было быть погребено под завалами памяти, которая тасует колоду, как придется, выуживая то одно, то другое.

Самое удивительное, что эти годы так и остались провалом, – я ровным счётом ничего не вспоминаю, хотя все помню. Помнить и вспоминать это такие разные категории. Как будто «та» часть жизни проходила в глубоком сне, а котором не было ни единой зацепки. Точно так же я не вспоминаю школьные годы, которые принято с умилением.

Воистину, душа долго блуждает в потемках, пока не обретает самое себя. У каждого свои сроки.

Нет, порой, конечно, мелькают некие обрывки (как будто не моей) жизни, на которые я смотрю с осторожным отстранением – все ещё ранит? Накрывает мутной волной? Сколько же щепок, пустот, воронок, сколько не востребованной энергии в этом странном облаке, именуемом жизнью! Как много заколоченных наглухо дверей, которые не то что отпирать, к которым подходить боязно, – а ну как попрут польются все эти слезы, страхи, муки подсознания, и я вновь исчезну, пропаду, иссякну.

Воистину, лучший из всех видов мести (как справедливо отметил Борхес в своем апокрифическом евангелии) – забвение. Тотальное, полное, безоговорочное. Даже если на кону твоя собственная жизнь.

Театр у микрофона

В детстве (а оно не всегда было солнечным, бывали и пасмурные, как, допустим, сегодня, дни и даже годы), я любила стоять у окна под вкрадчивый говорок радиопередач. Конечно, не рабочий полдень и не жизнерадостные передовицы о надоях и трактористах. Я слушала радиоспектакли. От одного только сочетания звуков – «МХАТ» или «на сцене Малого театра», сердце мое, наконец, начинало биться в унисон с реальностью, – не то чтобы я ее абсолютно отвергала, но зачастую отторгала, – многое в этом новом (в тот момент) районе и времени жизни было немило и чуждо мне, стоящей у окна, – долгие зимы, вороны, соседи, одноклассники и этюды Черни, стопкой лежащие на фортепиано.

А театр у микрофона я любила, – мне нравились голоса, интонации, истории, – как будто свиток живой и яркой жизни разворачивался внутри скучной и обыденной моей, – подперев ладонью щеку, либо же скрестив ноги по-турецки, уносила я в иные миры, – конечно, кое-что меня всё-таки смущало, и уж будьте покойны, я умела отличить фальшивый пафос «сталеваров» от «странной миссис Сэвидж», и голос Плятта или Яншина распознавала с первых слов. И уж, конечно, Розов (пьесы которого были подарены тетей в очередной день рождения), их я глотала и перечитывала, и сама ставила домашние бумажные спектакли из нарисованных фигурок, о, благодарю провидение за этот восхитительный досуг, немало сладостных часов и минут было потрачено на исполнение режиссерского замысла и удовлетворение едва ли не главной страсти).

Арбузов. Сколько невидимых слез пролила я, вслушиваясь в голос великой Марии Бабановой. Сострадая неприспособленности, кротости и детской хрупкости, восхищаясь мужеством и стойкостью, и этой глубинной красотой отвергнутого, но любящего глубоко (хоть и безответно).

У меня есть сын, – вот этот нежный детский голосок (о, сколько боли в нем и невысказанного потаенного счастья), – у меня есть сын... повторяла я вновь и вновь, стоя уже перед зеркалом, пытаюсь разглядеть в себе крупину этого достоинства и красоты. Наверное, ещё до конца не понимая, что фраза эта – простая, на первый взгляд, окупает все и вся, – она, именно она – венец, и гордость, и смысл всей твоей в общем-то обыкновенной жизни, в которой ты, как все, родившись, вырос, пошел в школу, прятал дневник, влюблялся, грыз ногти, плакал от неразделённой любви, ходил в походы, сдавал экзамены и нормы ГТО...

И вдруг это, библейское совершенно. Из других, знаете ли, миров. Сводящее на нет все прочие достижения. Альфа и омега. Как «в начале было слово». Так в начале был спектакль, и чудный дрожащий голос из динамика возвестил мир о главном.

Рыба

В тот день папа принес рыбу. Не просто рыбу. Рыбину. Не знаю, где он ее достал (в те времена настоящую еду именно что «доставали» или добывали, как трофей). Уж во всяком случае, не на удочку. И не в рыбном (там такие сроду не водились). Это была огромная красная рыба, необыкновенно вкусная (я такой больше нигде и никогда

не ела), какого-то специфического посола, – казалось, я могу ее есть всегда, длить и длить это блаженство, которое так и тает на языке, оставляя солоноватый вкус счастья.

К слову сказать, явление этой особенной рыбы пришлось как раз в тот период, когда я обожала соленое. Все соленое. Допустим, соль из солонки я могла есть, нанизывая крупинки на влажный палец, и слизывая их по одной.

Рыба, повторюсь, была особенной, редкой, и слишком... роскошной, что ли, для нашей небольшой кухоньки на втором этаже обычной пятиэтажной хрущевки. Несоразмерной, должно быть, обстоятельствам, чувствовала себя и она.

Не тот масштаб, – наверняка думалось ей, уныло лежащей на столе, с которого пришлось убрать все лишнее. Чувство вселенской несправедливости, вероятно, теснило ее перламутровую грудь, незаметно переходящую в серебристый животик.

Господи, какой прекрасной она была. Упругой, скользкой, благоухающей. Надо ли упоминать о том, что холодильник наш был соразмерен квартире, но уж никак не прекрасной гостье?

Боже, – выдохнула мама, – склонившись над страдалицей. Бедная юная мама, она вообще не понимала, с какой стороны подступиться у этому фантастическому явлению. И даже бабушка, которая в жизни не видела ничего крупнее карпа или леща, заметно сникла.

Что же касается добытчика – главы, так сказать семейства, то он тоже, в общем, был не очень искушен в рыбных вопросах, – скажу больше, – он не только не ел ничего рыбного, он его на дух не переносил. Одному создателю известно, как удалось ему донести это самое рыбное до дома. С трудом представляю папу, всегда со вкусом, с иголки одетого, – в трамвае, среди кошелок, авосек и корзин, – с увесистым пахучим свертком в руках.

На семейном совете решено было поделиться рыбой с Верочкой, которая жила неподалеку. Это была интеллигентная женщина неопределенного возраста и миниатюрного роста, кажется, мамина сотрудница, переводчик.

Но для начала ее нужно было разрезать. Не Верочку, разумеется, а рыбу. Вооружившись острым ножом, мама сделала тонкий надрез вдоль жемчужного брюшка. Папа предпочел удалиться, не вынеся благоухания и вида беспомощно распростертого на столе существа. Ах, что за жабры, что за плавники, какой немыслимый хвост и чешуя на нем!

Воображаю, как обрадовалась маленькая Верочка такому королевскому дару.

Не помню, сколько длилось рыбное благоденствие нашей семьи – казалось, даже оставшейся половины хватит на долгую-предолгую жизнь.

Собственно, именно таковой она и является, особенно если дело происходит в тесной кухоньке, окнами выходящей на бульвар. За которым – школа, но об этом потом, возможно, через месяц или два, а пока же солонка полна отборной чуть сероватой крупнозернистой соли, она не закончится никогда.

Натюрморт

Когда человек голоден, он не разбирает дороги.

Чем прекрасна зима, так это разнообразием. За окном – все оттенки белого (а также серого и черного). И еда. Вся еда мира, все яства вселенной проносятся пред взором спешащего домой человека. Ах, чего бы я только не съела!

Чем ближе к дому, тем настырней желание. Ну, вы поняли. Чревоугодие мой страшный и тайный грех.

Берем тяжелый монастырский (прибалтийский, украинский, белорусский, бородинский) с тмином, кориандром и без, нарезаем то-о-оненько-претоненько (как папиросную бумагу). И в тостер (сковородка тоже хорошо). Пока ломтики хлеба достигают совершенной поджаристости, быстренько варганим зимний давно забытый салатик. Плавленный сырок, сваренные яйца, зеленый лучок (попробуем воспеть эти бледные зимние побеги, утешение на исходе долгой, долгой зимы). Немножко чесночка, совсем немного.

Всё мелко рубим, крошим, кромсаем, любимся тем, как зелень оттеняет белизну плавленого сырка и яичного белка, как многозначительно проступает желтизна, как невинность белка и нежность желтка соперничают друг с другом в этой божественной композиции, не уступающей многим изысканным блюдам в величии замысла: вкушая сей натюрморт, вы вольны предаться давним воспоминаниям – тому способствует унылое освещение за окном, чавканье подошв, – совсем как тогда, в далекую пору скудных и прекрасных времен, когда родители еще не вернулись, допустим, с работы, а чувство голода не уступало ощущению покинутости (и как волнующе одно дополняло другое), и утешение было безыскусным и доступным, на расстоянии протянутой руки. Яйцо, сырок, лучок. И хлеб, бородинский, прибалтийский, белорусский, серый либо же украинский (с той самой корочкой, которой сегодня не отыщешь с огнем), а в общем – любой.

Арифметика

В феврале особенно ощутим предел.

Кажется, ну всё, сколько можно в конце концов, мироздание тоже устает, чахнет, покрывается сизым налетом. Зимние лица, замёрзшие окна, за окном опять скребут. Шарканье подошв по ледяным наростам. Срывающий крыши ветер нападает из-за угла.

Но не будем забывать о равновесии. Он отнимает, но и воздает. Только лови.

Преимущество марта – в его переменчивости, уязвимости, оглушительной пустоте, незаполненности ячеек и сот. Все запасы прожиты, выжаты, все ушло на обогрев, тотальное выживание. Только бы не исчезнуть вовсе, явив вселенной свою опустошенность. Так в тысячах зеркал отражаются вестники новой жизни, так нежно и значительно оповещают они о важном. Любое начинание (накануне) оборачивается крахом. Не стоит суетиться. Ты не родился ещё, не жил. Затаись, приготовься к родам. Мелодичный перезвон будто новая точка отсчёта. Не сожалея об ушедшем, принимай новое.

Божественная бухгалтерия. Счёты клацают, костяшки сдвигаются, то вправо, то влево. Черные, белые.

В первом классе нам велели принести счёты (как же это забавно слышать, должно быть, – из сегодняшних реалий).

Так вот, мне купили счёты. Небольшие, в рамке натурального дерева, такие... интеллигентно компактные, в мягком чехле из темно-вишневого бархата.

С какой важностью я доставала их из ранца! Лучше моих счёт не было ничего, поверьте. Очарованная мягким клацаньем костяшек, я напрочь отказывалась постигать тайный смысл процесса. Арифметические действия оказались за пределами моего распаленного новым предметом воображения. Загадка бытия весело тарахтела в руках, костяшки плавно перекачивались из угла в угол, но таинство сложения, вычитания... оно было чуждым, невнятным, бесполезным в моей системе отношений с миром.

Разве можно сосчитать количество солнечных лучей? Дней – да, пожалуй... но лучей? А степень восторга? А глубину отчаянья? А тяжесть, шершавость дерева, мягкость звука, гладкость его, подробность. Всё самое важное не поддается счету. Никогда.

Не то чтобы я раздражалась подобными сентенциями – конечно же нет, но, отодвинув прекрасный тяжело деревянный и бесполезный предмет, смотрела мимо доски, окна, парты, учебника, раскрытой и заляпанный чернилами тетради. В них было нечто большее, нежели плюс–минус, отнять–прибавить. И я не в состоянии была это постичь.

Ну всё же предельно ясно! Количество темных и светлых костяшек одно и то же. Всегда. Как бы ты ими ни гремел. Какие бы подсчёты ни производил, в исступлении прибавляя, отнимая, умножая, шевеля губами, морща лоб.

С чем ты пришел, с тем и уходишь.

Вслушайся, как мягко перекачиваются они.

Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Это безусловный минус.

Март, апрель, май, июнь. Это только плюс.
Всё остальное в подарок.

Орхидеи

Эти утонченные создания живут своей жизнью, не связанной с курсом валют или сегодняшним ураганным ветром. Полные изящества и непринужденного достоинства, они, словно существа высшей касты, не размениваются, не суетятся. Их дело – тянуться к свету.

Являя себя миру. Повторяя форму иероглифа, вспыхивать, ошеломлять бархатистой изнанкой цветка, изломанной линией стебля. Хочу вспомнить нежную силу красоты, ее недосказанность, щепетильность, хрупкость, уязвимость – возможно, через год или два. Раннюю, капризную весну, похожую на меланхоличные шопеновские ноктюрны.

Дар небес

Май. Мучительно прекрасный месяц. Такой щедрый дар небес не всякому по силам. Из-за обильных дождей много свежей, гибкой, молодой травы, пахнет подгнившей древесиной и подольским подвалом. Всюду пух (тополей? облетевших в одну ночь одуванчиков?) – в ноздрах, носоглотке, в ушах, под ногами. Лужи в пуху, крыши в пуху, глаза в слезах, в носу щекотно. Безудержная влюбленность всего и вся. Беспорядочное совокупление лягушек, исступлённое кваканье, щебет, внезапный и наполняющий благостью запах благородного лавра, – за ним шлейф других запахов, земель, берегов, иного бытия-жития, – это такой тонкий всепобеждающей аромат, источающий терпкие масла, – а тут и бергамот загадочный, и мерцающая нота жасмина, и каких-то острых луговых трав, – все это снится мне, возможно, идущей по ночному городу, – и точно вспышки – блики (тени) прошлых весен, отчаянно-прекрасных, зыбких, временных, точно снятый в аренду дом, и в нем живущая на чемоданах семья, готовая сорваться с места, но время идёт, и дом обживается потихоньку, – уже и занавеску купили, и шкаф, и новый диван, и вроде бы все более-менее, но чемоданы никто не прячет, не заталкивает в глубь антресолей, – здесь все кричит и вызывает о непостоянстве, о сиюминутном, – смотри, как облетают они, улетают, слетают, и вот уже постоянство дачных участков, электричек, нескончаемых забот, эмалированных тазов, в которых вспучивается клубничная масса, сахарится абрикосовый джем, сохнет от избытка влаги перина. И крытая марлей корзина, в которой долгий густой (почти вечный) дух летних широт, и долгий зной, в котором тонут вчерашние сны и обещания.

В тени склоненных ив

Над городом взошло африканское солнце. Дух пустынь и саванн воцарился в наших краях, и, похоже, чтобы увидеть голого человека, никому из нас не придется прибегать к помощи, допустим, подзорной трубы.

Не то чтобы я настолько против голых, но всякому обществу я предпочту общество одетых, по крайней мере, не только в нижнее белье. Я так и вижу (в каждом окне) вяло передвигающиеся человеческие силуэты, и все это, увы, ассоциируется даже не с борделем (бордель – это, по крайней мере, некоторая динамика, образы, судьбы, порок, в конце концов). Порок – не самое ужасное из того, что мы можем случайно увидеть. Гораздо печальней вид жующего котлеты голого мужчины в носках из вискозы. Вот он задумчиво стоит у плиты, вот открывает холодильник, а вот и она, таинственная незнакомка из окна напротив – привет житомирской текстильной фабрике, – нет, эросом здесь не дышит решительно ничего, – она, повернувшись спиной, помешивает что-то в кастрюле, он, точно пребывающая в беспамятстве сомнамбула, курсирует между кухней и комнатой.

Вы думаете, я все же пользуюсь подзорной трубой? Признаюсь, имелась у меня такая слабость в далёком прошлом, ведь я была мечтательной отроковицей, и надеялась постичь тайны далёких галактик, и даже прочла от корки до корки толстенный том Воронцова-Вельяминова. Родители, воодушевлённые моими интеллектуальными запросами, поднатужившись, осыпали меня вождённым подарком – подзорной трубой. Конечно, я мечтала о телескопе, но на телескоп, видимо, им все же не хватило – жили мы более чем скромно, и ещё эти уроки музыки стоили недешево, и рассрочка за немецкий концертный инструмент, – в общем, пришлось довольствоваться подзорной трубой, которая увеличивала, если мне не изменяет память, всего в 12 раз, и потому свет далёких галактик оставался по-прежнему безнадежно далёким, – нет, я, конечно, с превеликой важностью (с нетерпением дождавшись темноты) наводила фокус на звёзды, – о, в те времена ещё были звёзды, довольно крупные, яркие, мохнатые, – мне нравилось воображать себя первой женщиной-астрономом, в космонавты я явно не годилась с моим вестибулярным аппаратом (один вид трамвая, маятника и качелей вызывал неконтролируемые желудочные спазмы), – итак, я видела (или же думала, что вижу) Большую и Малую Медведицу, созвездие Ориона и Тельца, но вскоре мне это несколько наскучило, я не продвигалась в своих научных изысканиях ни на йоту, и ситуацию исправил гостивший у нас тем летом кузен – тощий носатый армянский мальчик лет тринадцати-четырнадцати. Павел был точной копией рыжего Варлаама из «Не горюй».

Балда, не туда смотришь, – приставив к глазу волшебную трубу, он замер, уставившись в одну точку. Все самое интересное, оказывается, происходило на расстоянии вытянутой руки, – мечтательные девушки в сиреневых лифчиках, распаренные зноем похожие на медуз домохозяйки, сутулые мужчины в растянутых майках и бесформенных трусах, – одним словом, перед глазами разворачивалась довольно обескураживающая картина бытия (Авраам родил Ицхака, и далее), повергшая в печальные раздумья относительно некоторых перспектив. Бедное, бедное, обречённое на каторгу совместного проживания в недрах совмещённых удобств человечество...

Несколько позже (десятилетия спустя) я окажусь в капелле Скровеньи, перед фресками Джотто, и ещё и ещё раз восславлю зоркий, но всё-таки бесконечно вдохновляющий взгляд художника, умеющего обращать обычную водопроводную воду в вино и другие напитки. Великая сила искусства и любви! (для меня это равнозначные величины).

Мой интерес к астрономии довольно быстро угас, и точно не скажу, что этому способствовало, – волшебная труба, которую вскоре утащили (безо всякой надежды на возврат) друзья моего кузена, такие же балбесы, жившие пятью этажами выше (потерю я, конечно, горестно оплакивала), – либо унылая панорама из дома напротив.

Звёзды всё ещё были огромными, но, похоже, никто из живущих вокруг давно на них не смотрел.

Парафраз

Не знаю, мне кажется, он был здесь всегда. Вот на этом углу. Я уезжала, он был. Я приезжала, он был. Я приезжала и возвращалась, а потом опять уезжала, а он как стоял, так и стоит. Все та же облупленная дверь с неровно приколоченной табличкой. На которой менялись только цифры. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Очередь. Под палящим солнцем, под дождем. В любую погоду. Асфальт в трещинах, – внутри – тяжёлая духота, на колченогом стуле охранник.

У этого места всегда была дурная слава. В девяностых кого-то подрезали, потом стреляли. С тех пор, поздним вечером, ближе к ночи, здесь всегда вооруженная охрана и бронированный черный автомобиль. Крепкие ребята в бронежилетах кучкуются возле киоска, напряжённо посматривают на редких прохожих.

Господи, можно уехать на четверть века, вернуться, и упереться лбом в эту дверь. Можно слетать на Памир, Галапагосские острова – и все равно вернуться к этому окошку.

Разбитый асфальт, доска объявлений, грохот трамвая. В будке за перегородкой – взмокшее женское лицо. Я бы не назвала его счастливым. Я выйду, а она останется.

Я побегу к дому или к метро, уткнусь в экран или в книгу – точно страус, зарывающий голову в песок. Конечно, в следующий раз я ни за что не встану в эту очередь, даже если в ней не окажется ни одного человека. В конце концов, есть другие места, более цивилизованные, без этого настойчивого рефрена из девяностых.

Как и тогда, я стою на углу с зажатой в ладони купюрой.

Мир был все еще цельным (или казался таковым), хоть и свистело со всех сторон, штормило, сквозило, грозило распадом – рятуйте, люди добрые, – девяностые надвигались развинченной приклатненной походкой, – руки в карманах, вихляющий зад, кривая ухмылка, прилипшая к нижней губе сигарета – страна сидела на баулах, – кто где, – на вещевом рынке, в ломбарде или в аэропорту. В результате четких и почти спонтанных действий я окажусь в другой очереди. ОВИР, если хотите знать, был бойким местечком, в нем завязывались знакомства, вершились судьбы, – я даже вспомню книгу, которую успею прочесть (от корки до корки) в скудно освещенном коридоре той далёкой зимой. Бертран Рассел, «Почему я не христианин».

Стоящий впереди мужчина переводил взгляд с обложки на меня, – за несколько дней мы почти сдружились, он выбегал покурить, я – подышать, – странное дело, очередь эта не удручала меня, здесь все были более менее свои, – потом, в новой жизни, мы вновь станем чужими.

В коридоре стоял равномерный гул, точно в оркестровой яме, – все инструменты звучали вразнобой, но партитура была написана, и главная тема торжествующе пробивалась сквозь многозвучный хаос. Война с Ираком. Ещё был жив (и даже относительно молод) Саддам, и бомбы летели в сторону Тель-Авива, но что такое бомбы по сравнению с заполошным воплем из киоска на углу.

Я знала, – даже если вернуться, то это буду не я, а совсем другая женщина, отстоявшая во всех очередях мира – там, тут, потом опять там, чертов механизм, набирая обороты, швырял то в один зал ожидания, то в другой, – таинственный шорох песков обернется довольно тривиальным сценарием – мисрад а пним*, банк идуд, мисрад клита**, битуах Леуми, в общем, опять очереди, очереди, лица, лица, чаще растерянные, нежели удовлетворенные происшедшим, – не так я представляла себе триумфальное шествие по новой жизни, но некая сущность в шубе и вязаной шапке (посреди бессрочного израильского лета) на остановке четвертого автобуса (в районе Феджи) произнесет уже знакомое до тошноты «леат-леат»***, «савланут»****, «ихие беседер»*****

Здесь тоже были обменники, и, комкая в горсти очередную бумажку, я становилась в условную очередь, да, собственно, не было никакой очереди, и охранника не было, и страха не было совсем, – кому придет в голову бояться толстого рыжего Ицика в вязаной кипе или ушлого бухарца с тяжёлым золотым магендовидом на волосатой груди, и, если и попадался человек с оружием, то ничего такого в этом не было, никакого зловещего умысла, чаще всего это был невыспавшийся, припорошенный несмываемым загаром и пылью чей-то сын, – однажды, к слову сказать, я окажусь случайным свидетелем трогательной весьма сцены: средних лет грузный мужчина, порывшись в бумажнике, подсел к такому сонному и смертельно уставшему «чьему-то мальчику», и чуть ли не силой вложил в его ладонь несколько скомканных купюр, вся пантомима длилась секунды, но их хватило, чтобы остаться в памяти. Пятьдесят пятый автобус, старая тахана мерказит*****, чужой человек, улыбаясь, сует деньги оторопевшему солдату. Возьми, сынок, тебе нужней.

Казалось, его вот-вот закроют, снесут, и, вообще, непременно случится что-нибудь эпохальное, в результате чего не будет хмурых лиц, очередей, охранников в бронежилетах,

мата, сканирующих глаз, развинченной походки и, главное, этой кривой ухмылки с налипшей к углу рта сигаретой. Восемь, двенадцать, двадцать пять.

Но грохочет трамвай, и некая могущественная сила (инерции? памяти?) подталкивает в спину, ведёт по мосту, и тут я, слава богу, просыпаюсь, и понимаю, что ничего этого в моей жизни нет. Ни моста, ни трамвая, ни зажатой в ладони скомканной купюры.

* Министерство внутренних дел.

** Министерство абсорбции.

*** Потихоньку.

**** Терпение.

***** Все будет хорошо.

***** Автобусная станция.

Война

В детстве война казалась почти фольклором. Либо документальными кадрами перед началом утреннего сеанса. Минутой молчания в День Победы. Патетика советского кино зачастую отодвигала реальность событий на непреодолимое расстояние. И, наверное, это было хорошо. Поколение, рожденное в относительно благополучные 60-е, могло судить о войне по воспоминаниям очевидцев, по несовершенным кадрам хроники, по книгам, фильмам. Парадоксально, но дети вряд ли испытывают страх перед войной. Да и что такое эта самая война? У каждого пережившего ее она своя. Для меня бабушкины рассказы об эвакуации были скорее занятыми, нежели пугающими.

Холодные поезда, голод, страх перед неизвестным, опять же выдернутые из контекста привычной реальности гражданские люди: дети, женщины, старики. Но существовала ли в нашей стране привычная реальность? И можно ли назвать привычной реальностью десятилетие спокойной жизни? Нить бабушкиных воспоминаний тянулась из времен гораздо более отдаленных, нежели сороковые. Спокойствия не было и до. Сытой жизни тоже. Хотела бы я знать, сколько безмятежных лет выпало на долю бабушкиной жизни? И была ли относительно спокойная старость вождеденным островком благополучия? «Только бы не было войны», – любила повторять она. «Ну что ты, бабушка, какая война!» – снисходительно посмеивалась я в ответ на бабушкины сентенции.

Парадокс, чем старше я становлюсь, а стало быть, в определенном смысле ближе к моей бабушке, невзирая на расстояние в десятилетия, тем более условным кажется это самое расстояние и само понимание цикличности событий. Как и понятие мира и войны. Услышанное в детстве перестает быть фольклором.

И что такое, собственно, эта самая война? Это когда чёрное и белое? Когда стреляют? Бомбят? Убивают из-за угла? Громят? Когда выселяют из домов? Когда бегут? Спасаются? Голод? Холод? Неудобства? Где грань, отделяющая иллюзорное ощущение мира и реальное – войны?

Наверное, именно благодаря услышанному в детстве я не забываю об этой иллюзорности. И понимаю, что война – такое же естественное состояние человечества, как и мир, как и всё, что является характеристикой человеческой натуры: добро, зло, – и так же неизбежна, как жизнь или смерть.

Я знаю, как входит она под кожу (поселяясь там вечным ознобом), и да, нормальную, повседневную жизнь на фоне войны никто, знаете ли, не отменял. Вам надо платить за квартиру, ходить на родительские собрания, забирать ребенка из школы, вас увольняют (в очередной раз), у вас кризис среднего возраста, а на обратном пути после бессмысленной

работы непременно заскочить в супер, купить то и это, а потом ещё в зубах принести горячую пиццу из пиццерии на углу – да, на том самом углу, напротив овощного, – там, если хотите знать, самая вкусная пицца и добавок не жалеют, а орегано сыпь сколько хочешь, – и вот вы бежите домой (с пиццей, пакетами из супера и прочей ерундой, – черт, хорошо бы ещё всё-таки в овощной, пока не закрыли, потому что конец недели, и завтра всё будет забито людьми, тележками). Пока вы прикидываете, сжимая в ладони последние сто шекелей, больше банкомат не даёт, придется идти в банк разбираться, – и вот вы бежите по улице, сворачиваете за угол, и вообще, знаете ли, не думаете о том, что рядом – война. О ней вообще не надо специально как-то думать. Потому что она у вас под кожей, в крови, в клетках и нервных волокнах. Сколько процентов войны в каждом из нас? После того как куплена пицца, сделаны уроки, вы включаете новости и забываете обо всем, потому что – господи, как можно, они совсем дети, эти лица, эти имена, а вот это лицо мне знакомо, как будто знала его всегда, – по всем каналам одно и то же, и вы стоите (сидите) навтыжку, потому что этажом ниже, и выше, и под домом из чьей-то машины – одно и то же, имена, имена, имена. И уже не важно, как их звали, не важно, сколько им лет, – важно одно: война входит в дом, караулит под окнами, и ей, войне, совершенно неважно, что бомбоубежища в вашем ветхом амидаровском* доме нет и никогда не было, что вас увольняют с работы, в банкомате застряла карточка, а банк закрыт на шабат.

*Амидаровские дома – государственные квартиры в Израиле, чаще всего в старых домах

Сквозняк

По району, застроенному пятиэтажками, бродил высокий белобородый старик с холщовой сумой через плечо. Помню, был он слеп, и я замедляла шаг, стараясь быть поближе к взрослым, – осознание чужой беды ранит и оставляет ощущение сквозняка в теплом и несколько рыхлом (безразмерном) летнем дне, в котором все вроде бы ясно и предсказуемо, – и тут внезапная смена декораций – беспечное тепло сменяется пыльной бурей, слезятся глаза в ожидании бед, раскачиваются фонари, и этот старик, высокий, прямой, наверняка красивый, – это я сейчас понимаю, – а тогда слепой, слепой, одинокий, – почему он один, мам? – вдоль трамвайных путей, давно, по всей видимости, идёт, становясь всё ближе и ближе, и кто-то (наверное папа) подталкивает меня: иди – и я, онемев (сквозит ведь, из всех щелей сквозит), делаю шаг, чтоб осторожно (зажмурившись, в ладонь? в холщовую суму?) опустить монету, увидеть сомкнутые плотно коричневые веки, выбеленные волосы, впалые щеки, лёгкую тень улыбки (не тень даже, а рябь), ощутить сухое тепло на макушке – не касание, а так, шелест, дуновение, – я долго смотрю ему вслед, не помню насчёт вышиванки, а длинный плащ (до пят) помню, возможно, она была, под плащом или пальто (или даже шинелью) не в этом, так в другом дне, в других декорациях, сложенная аккуратно на дне чемодана, пахла чем-то забытым, из детства, – компотом из черной сливы, вареньем из крыжовника, летним днём, райскими яблочками, тополиным пухом.

Не знаю, была ли на нём вышиванка, а если и была, не думаю, что это была дизайнерская модель, скорее всего, была она чистой, ветхой, застиранной до прозрачности и оттого глубоко подлинной, сохранившей на сгибах и швах дух долгой жизни, – среди множества сохранившихся чёрно-белых снимков, увь, нет ни одного, запечатлевшего долгий летний день (один из многих), сквер, трамвайные пути, чужую девочку, сквозняк небытия, слепого старика, идущего сквозь время.

Смысл

Воскресный день, наполненный плотно – ничем, либо же всем сразу, – допустим, тривиальными заботами, которые преодолеваются легко, потому что подступающее лето оставляет иллюзию многих возможностей, о которых если и думаешь, то как-то вскользь, с ленцой, – главное – здесь, сию минуту, – густой воздух (в нем разряды близких молний, свежесть трав и деревьев, выхлопы с трассы – тот самый коктейль, который не спутаешь с иным, так пахнет ночь в Борисполе после приземления), тропинка между соснами, лежащие вповалку в высокой траве некоторые мужчины. Ещё брезжит что-то там, впереди, – длинные летние вечера – просто так, ни для чего-то важного, они для медленного проживания жизни, проступающих из сумерек звуков и голосов.

Свет далеких окон

Как будто все осталось прежним – еще с давних времен, с первой моей поездки, к которой и не готовилась вовсе, а собиралась по-спартански, – каких-то два дня, два дня каникул, – джинсы, майка, цветастый сарафан, – признаюсь, самой дороги я не помню, зато помню свое ошеломление от неизмеримости всего – проспектов, улиц, домов, – от разности лиц, – в Киеве моих семнадцати все-таки было уютно-провинциально, не было этого вселенского сквозняка, в котором очутилась я, влюбленная девица, сбежавшая от самой себя и объекта влюбленности так неожиданно и удачно, – киевские дворы и тополинный пух остались позади, а впереди – вкус московского пломбира, – мы ели его весь день, я и папа, пренебрегая общепитом, – зачем, спрашивается, люди вырываются на свободу, не столовскими же котлетами давиться, – точно заговорщики, надкусывали, посмеиваясь от удовольствия, как в детстве, когда съеденный пончик с горохом или повидлом приравнивался к серьезному правонарушению, ведь дома был суп, безусловно, полезный и сваренный с любовью, но какая тяжкая безысходность повседневности, предсказуемости, – а тут – контрабандный пончик, Крещатик, красный берет, дух свободы и вседозволенности, – но вернемся же в Москву, к высоткам и площадям, я иду рядом с папой, уже почти взрослая, семнадцатилетняя, и все то же чувство праздника, яркости и неповторимости момента, так всегда было с папой – феерия, праздник, искра, никаких надо или положено, – не знаю, сколько километров отмахали мы в этот день, – помню мосты, плавные ленты дорог, пьянящее ощущение бесконечности всего – лета, дня, жизни, но вот уже и сумерки, усталость, гул шагов, – влюбленность моя таяла, точно сливочный брикет, – таяла, тускнела, отцветала, плавилась от безумной московской жары.

Казалось, еще день, второй, третий – от нее не останется следа, только зыбкое напоминание, укол, царапина, бороздка, – а в Киеве все то же – теплый дождик, по обочинам толпятся старушки с пучками редиски и укропа, пахнет огурцом, клубникой, землей, влагой, грозой. Все та же, но другая я, – повзрослевшая на целое лето. Потому что лето, казавшееся безразмерным, закончилось.

Я помню этот город, в нем все так и останется узнаваемым и чужим одновременно, – это здесь я разрыдаюсь посреди торгового зала с расходящимися в разные стороны потоками очередей, – уже в другом году, в другое лето моей жизни (назовем его черныбыльским) – там буду другая я, тоже влюбленная, немного израненная, а потом, конечно же, исцеленная – Арменией. Дилижанским воздухом, очертаниями гор, небес, лиц.

В памяти останутся орлами восседающие, поигрывающие цепями дети братских народов – на Щелковской я насчитаю их с десяток. Там самые гостеприимные в мире дома и самые теплые люди, румянощекие певуньи и плясуньи в кокошниках, звук разудалой гармонии, свет окон в начинающихся сумерках, эхо в огромных дворах, отчуждение всех и каждого, одиночество движущейся во тьме электрички и шум приближающегося к станции поезда.

Это здесь, в вагоне московского метрополитена, грустноглазый таджик с ликом такой древности, и красоты, и сложности – точно некий виртуоз соединил все линии в божественный пазл, и крошечная девочка-сфинкс, сидящая на коленях таджика, не сводит

немигающих глаз с сидящего напротив, и любоваться ею странно и неловко – такие лица прячут от посторонних – за толстыми стенами, за плотной тканью, – такие лица пробуждают неясную тревогу – уж слишком много света источают они для нашего темного суетного мира.

Подвешенное время

Что ты ковыряешься в этом самом детстве, точно в остывшем пюре? Что тебе там?

Да я его переписываю, если хотите, смещаю акценты, вырезаю кадры и целые серии. Например, школу. Безжалостно кромсаю пленку. Выбрасываю метры, рулоны. Там, на месте этих кадров, черные дыры. Космические пустоты. У меня, у девочки из в целом приличной семьи. Конечно, иллюзию безопасности создавали родители. Дома, среди книг. Зарыться, отсидеться, отогреться (на потом, навсегда) на низком топчане у коротковолнового приемника, за папиной спиной, под клацанье печатной машинки («Эрика», «Мерседес»), или на Подоле, у тети. Весь мир, выстроенный, обжитый исключительно для тебя – вот он, поток безграничной любви. Что было до того (слезы, потери, страхи) – не важно, ты всего этого не знаешь ещё: ни про эвакуацию, ни про соседей, ни про самое страшное, о чем не принято вслух: тебе на фарфоровом блюде – вся мощь и сила добра, в котором ты расцветаешь и плависься, – на вырост, на потом. Двор с необъятной акацией, кошащая свора (у каждого своя индивидуальность, имя), радио на стене, сдвинутые ставни – вот пробивается полоска света, вот ходики с гирькой, подвешенной руками деда Иосифа – поворот головы, наклон ее, полузакрытый глаз (след от казачьей нагайки), мерный звук, мерный и мелкий, – такое подвешенное на цепочке время, и вторит ему утробный бас настенных, напротив, часов. Подушка-думочка под щекой, дыхание где-то там, в тазах клубящегося, зарождающегося варенья – вишневого, допустим, с крепкими, мелкими, твердыми, очень сладкими ягодами. Всё это для тебя, весь этот волшебный по кирпичику выстроенный мир – как будто сказочный джинн одним щелчком породил запахи, вкусы, звуки, плотность стен, торжество уюта (торшер, блюдо, подстаканник, плед, раскрытая книжка, струение голоса, голосов, они обтекают тебя, разглаживают, насыщая теплом, защищённостью, – впрок, на все времена, но ты не знаешь ещё, полагая, что навсегда этот крепкий детский сон, байковое одеяльце, заботливо подоткнутое (не дай бог раскроется, простудится). Не навсегда. Но в тебе. С тобой. Этот дар на дрожащих вытянутых руках – сок, чай, не важно, – главное донести, не расплескать.

Иногда я прохожу мимо этого дома. Точнее, мимо того, что было им. Ворота, массивная цепь, замок. Напротив ресторанчик, довольно, впрочем, уютный, как многое на Подоле. Военная часть. Стена. Провожу рукой. Ладонь вспоминает каждый бугорок, трещину, выступ. По сантиметру можно добраться до главного. Они там. Всё ещё там. Ждут меня у стола. От печи мерное тепло – на века, на века, в глубоком тазу – ах, какой таз! (вы хоть помните, как покупался, как обжигался?) – вскипает варенье. С кислинкой. Кизил, клубника, смородина. За кадром – речитатив радио, голоса со двора. Кто-то месит тесто, руки по локоть в муке. До золотистой корочки обжаривается вермишель, получается «бабка», такое смешное лакомство. Люблю, задрал голову, смотреть, как зажигаются огни, как движутся тени. Неважно, что снаружи: осень, зима, весна. Внутри – лето. Оно навсегда. Так отчего же ты медлишь, сорви замок, разорви цепь, иди, ничего не бойся.